

О том, как боролся за право носить усы и лечил перелом руки в тюрьме, об Анатолии Марченко и попытке отравления через искусственное питание

12.92

625 п.92 пп
<http://oralhistory.ru/talks/orh-1987>

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 1992 года приговор Московского городского суда от 25 сентября 1975 года в отношении Григорьянца Сергея Ивановича 1941 года рождения, осужденного по ст.ст.190-1, 154 ч.2 УК РСФСР, отменен и дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Петров Сергей Геннадьевич

Дата записи

Беседа записана 11 мая 2016 и опубликована 13 декабря 2018.

Введение

Восьмая и последняя беседа с правозащитником и коллекционером Сергеем Григорьянцем начинается, как и все предыдущие, с дополнения к рассказанному ранее. Григорьянц вспоминает своих сокамерников по Матросской тишине в 1975 году, один из которых рассказывал множество интересных историй, в том числе, как получить чужой багаж в камере хранения. Он говорит, что именно такие истории, а также живой интерес к сокамерникам помогли ему сохранить себя в заключении. Другой эпизод — сексуальное внимание сокамерника, что представляло реальную угрозу продления тюремного заключения. Наконец собеседник переходит к рассказу о своем последнем тюремном сроке, который (как и первый срок) частично провел в Чистопольской тюрьме. Узнав, что выходцам с Кавказа разрешено не брить усы, Григорьянц стал добиваться реализации этого права, что стоило ему сломанной руки, а тюремному начальству — скандала.

Сергей Геннадьевич Петров: Ну что, давайте продолжим очередную беседу.

Сергей Иванович Григорьянц: Давайте продолжим.

С. П.: Начнем, как всегда, с дополнения к предыдущей беседе.

С. Г.: Ну, можно начать даже с незначительного дополнения к году в Матросской тишине. То есть с самого начала...

С. П.: То есть возвращаемся в 75-й год.

С. Г.: Возвращаемся в 75-й год, где, с одной стороны, конечно, у меня были очень разнообразные соседи: это была подобранная камера, но такая вот тихая. Среди них, скажем, был один профессиональный более-менее уголовник, с которым мне было очень любопытно, который периодически мне рассказывал какие-нибудь забавные истории. Ну, например, как получить чужой чемодан или багаж из автоматической системы хранения. Сейчас это уже труднее. Тогда еще около этих автоматических систем не было постоянных дежурных, которые потом появились, и он мне объяснял: «Ну это же очень просто. Находишь в удобном месте незанятую камеру. Бросаешь туда согнутую или как-нибудь испорченную монетку...»

С. П.: Пятнадцать копеек, если я не ошибаюсь.

С. Г.: Да, тогда это было пятнадцать копеек. Ну и после этого она ведь уже не работает. А ты стоишь где-нибудь в сторонке и смотришь, кто следующий подойдет к этой такой удобной камере. Подойдет, положит подходящий для тебя достаточно любопытный багаж, наберет номер, а потом попытается закрыть — и окажется, что закрыть нельзя. И тогда человек, который и без того минуту или две думал, какой номер там поставить, какой шифр, переходит к другой ячейке, но он уже не меняет номер.

С. П.: Ну да. А номер там как-то сохраняется, да?

С. Г.: Ну, конечно. И дальше остается только подождать, пока он уйдет, посмотреть, какой номер он набрал первый раз, и набрать во второй...

С. П.: Отлично.

С. Г.: Он мне рассказал много забавных тоже историй. Хотя, в общем... Вот я вам сказал, что мне было легче с моими соседями, потому что мне было очень интересно, ну, и им забавно... Но дело было не только в этом. Дело было в том — и это стало ясно почти сразу же, — что кроме этого человека, кроме еще, может быть, нескольких более-менее профессиональных людей, на этом, в общем, не самом простом, все-таки усиленном режиме с массой этапов, в которых я находился, с двумя тюрьмами, с десятками камер, пересылками я, во-первых, на самом деле очень мало видел настоящих преступников. С одной стороны, они почти никогда — вот я вспоминал все в связи с первой... с книжками, которые я читал на Матросской тишине, вот такой самооценки, как у старообрядца Мельникова-Печерского, который считал, что все равно каждый должен понимать, что он виновен, — этого я никогда не встречал. Большая часть людей говорили — даже когда это были убийцы, — что сам выпросил, сам виноват. Но с другой стороны, хотя усиленный режим предусматривал серьезные преступления и убийц я тоже видел не так мало, но по-настоящему опасных и очень злых людей я почти не встречал. Может быть, их было два-три. И вообще, как правило, наказания были сильно завышены в сравнении с тяжестью преступлений. На самом деле это был простой русский народ. И даже не худшая его часть. Ну, вот я уже говорил о поразительных талантах, которых я встречал, о поразительных рассказах. Нельзя сказать, что они были так уж все невинны. Каждый считал, что он должен себя как-то оправдать. В Верхнеуральске — я вам рассказал не обо всех своих соседях — скажем, был один горец изнасиловавший какую-то свою соседку, и он очень забавно говорил: «Ну так а чего? Она сама виновата. Ну чего она пошла за мной, как медвежонок? Я ей сказал... Вот я пошел к пещере, сказал ей идти за мной, она за мной и идет». И вот это вот «как медвежонок» (*смеется*). Но однажды я встретил, правда, действительно человека, которому реально доставляло удовольствие убийство, и он мне рассказывал, как, уже ожидая возможного расстрела, уже сидя в камере для приговоренных и ожидая только ответа на кассацию в Верховный Совет,

его донимал его сосед, у которого тоже был приговор к высшей мере наказания: он все время бился в истерике (а там все-таки месяца два нужно было ждать ответа), то плакал, то угрюмо молчал, то пытался что-то ему объяснять, — ну вот не мог выдержать этого ожидания возможного расстрела. И пару раз сказал: «Ну уж лучше бы сразу». «Ну что, я его повесил, как он и попросил».

С. П.: Но при этом сам он не подвергся...

С. Г.: «Охранники не верили, что он сам повесился, что я ему не помог. Но доказать ничего нельзя было, а у меня был хороший адвокат, и мне заменили расстрел пятнадцатью годами». Это был один из моих соседей в Казанской больнице.

С. П.: А, понятно. Потому что вот где вы могли с ним пересечься...

С. Г.: Да. Потому что он, видимо, все-таки был со строгого режима. В больнице — там все режимы. Это когда я туда попал первый раз. А потом будет второй. Вот, а в общем, с этими людьми, точнее, с большей частью из них, было нетрудно. Хотя, конечно, каждый из них хитрил. Было непонятно, какие указания им давала администрация, прежде чем меня туда посадить. Я уже упоминал об одном тоже необычайно злом армянине, общение с которым могло мне дорого стоить, но тоже, в общем, он был зол по природе и использовал прием, который человечеству, по-видимому, знаком с дней его появления. По крайней мере, знаменитый китайский философ, как его, ну, создатель...

С. П.: Не знаю, кто. Мао Цзэдун?

С. Г.: Нет, философ.

С. П.: Господи, что я говорю... Вы имеете в виду... Не скажу, у меня тоже вылетело. Лао-цзы есть и есть...

С. Г.: Нет, создатель китайской религии на самом деле. Где-то пишет о том, что бойся человека, который хочет сделать тебя виноватым: он старается приобрести власть над тобой. Ну и я дважды, как я и говорил, встречался с такими людьми...

С. П.: Конфуций был.

С. Г.: Конфуций, да. Которые любой разговор, любую мелочь или крупную вещь, случайную или неслучайную, важную или неважную, поворачивают так, что в этой ситуации ты неправ. И вот эта неправота как бы набирается и набирается. Причем на самом деле я не рассказал — одним из моих соседей еще был довольно безобидный ингуш. Вообще кавказцев со мной оказалось в камере как-то больше, чем русских. Может быть, администрация считала, что я не смогу с ними договориться. Ингуш был довольно безобидный, из такого среднего уголовного мира, принимавшего участие в каких-то кражах, в каких-то... Потом я попал, может быть, через месяца два к этому, кстати говоря, армянину, но из армян, высланных в Среднюю Азию. Я даже не знал, что армян высылали. Вот, и он мне так с удовольствием рассказал, как он затравил этого ингуша. Вот так вот слово за слово, слово за слово, неделями — тот от него не мог уйти, все время набиралась какая-то его вина, и недели через три, совершенно затравленный, этот парень, в бане выкупавшись, сам снял трусы и предложил, значит, вот делать с ним что тот захочет.

С. П.: Настолько был затравлен?

С. Г.: Да. «Но я так только — помазал». По-видимому, физиономия у меня была удивленная, и он мне объяснил: «Ну, все-таки это было очень опасно... Потом-то его там уже — с ним развлекались как хотели. Но если бы я был первый... Ингушей много, они земляки, и скорее всего со мной бы посчитались». Вообще у него была плохая репутация — с одной стороны, как бы человека из воровского мира, а с другой стороны, я слышал, он просто... Ну, это был довольно, ну, не то что узкий круг, но это было там я не знаю, несколько десятков двойных или тройных камер, в половине из которых я побывал (*усмехается*), и поэтому я уже о многих знал, если и не знал их самих, и у него была репутация человека, который, как сейчас, теперь уже просто в России, в Москве любят говорить, беспредельничал.

С. П.: То есть как бы нарушал воровские законы, по большому счету.

С. Г.: Ну да. Ну, находя для этого у себя какие-то оправдания и как-то оправдываясь, но было очевидно, что эти оправдания не соответствуют тому, что происходило, по-видимому, уже несколько раз с его соседями. А надо сказать, что паре воров, которые были в этой тюрьме, это все было совершенно не интересно, потому что дело не просто в том, что это соблюдение законов, несоблюдение законов — воров замечательным образом подтасовывают свои законы, когда им это выгодно, и вообще главный смысл всех воровских законов — это польза для воровского мира. То есть совершенно коммунистическая психология: вот если это полезно для дела коммунизма во всем мире, то... Но дело в том, что люди задавленные, люди затерзанные оказываются очень зависимы от администрации, и для воров это невыгодно. Ну, не только неправильно... Потому что если что-то понадобится, то они не смогут их поддержать. Так что это вот был такой довольно сложный мир. Одна из забытых мной камер была с двумя молодыми людьми, одним из которых оказался тот вот крепенький, хорошенький мальчик, которого я защитил, когда только попал в Верхнеуральск, еще на «сборке». Тут он оказался со мной в камере. В какой-то момент нашего соседа вызвали, очевидно. Мы остались одни. Принесли то ли еду какую-то, и я стоял около кормушки, ожидая миску, и так протянул руки... И вдруг он присел у самой двери и начал тереться о мои руки своей стриженной головой и щеками. Я очень разозлился. Я ему сказал: «Ну, хорошо, ну совесть надо иметь. Ну, один раз... Я не знаю, что с тобой было эти месяцы. И мне неинтересно. Но в конце концов один раз я тебе помог. Что ж ты начинаешь работать на ментов и меня подставляешь?» Я был уверен, что это была провокация такая. Подставка. Мальчик действительно был очень хорошенький. Он меня начал убеждать: «Да нет, ну что вы, никогда, да нет, это я сам... Мне никто не говорил». Я никогда не поверил, и, в общем, это не имело значения. Меня в очередной раз посадили в карцер, так что... На этом все кончилось... Вообще, я думаю... В конце концов, господи, ну, на самом деле за мной ничего особенного не было. Я думаю, что я... А потом была вот этой дивной красоты действительно девочка-комсомолка, которая меня уговаривала остаться в Верхнеуральске. Я думаю, что я портил им отчетность. Это единственная причина, почему они так настойчиво со мной возились.

С. П.: А что бы было, если бы вы пошли на поводу у этого мальчика? Чем вы рисковали в этой ситуации?

С. Г.: Сто двадцать первая статья.

С. П.: А, то есть просто...

С. Г.: Конечно.

С. П.: То есть то, что там повсеместно происходит в тюрьме, это только...

С. Г.: Ну, это кому можно — кому нельзя. Понимаете, это дело такое...

С. П.: Ну да, действительно.

О своих родных во время заключения

С. Г.: Тут же бы вернулся сосед... Я не верю в такие случайности и игры. Вот. Ну, я довольно многого не рассказал на самом деле о том, что — в том числе и когда я был в Боровске — происходило с моими родными. Потому что их в покое тоже не оставляли. Я рассказывал, как началась слежка за мной — и когда я искал дом, но до этого была достаточно чудовищная история с моей женой. У нас там на Напрудной, между автобусной остановкой и нашим домом была такая узенькая полоска деревьев — метров двадцать, может быть. И возвращаясь вечером, может быть, с работы (ну, уже было достаточно темно)... На нее вдруг напал какой-то человек. Напал, пытался... Может быть, и повалил, пытался душить. Ну, Тома, в общем, человек спортивный. В молодости занималась несколькими видами спорта. И хотя он сбил с нее очки, но она от него отбилась. С поцарапанными из-за разбитых очков руками в ужасе прибежала к нашей соседке, чтобы не пугать мать и детей, и они с соседкой пошли на это место. Человек этот убежал. Ну,

для того чтобы подобрать оправу очков, в первую очередь. Но кроме оправы и разбитых стекол, они нашли его воинский билет, который он, в свою очередь, потерял, может быть, не только потому, что Тома от него отбивалась, но потому, что, ну, в общем, много людей по вечерам возвращалось вот по этой тропинке от автобусной остановки к домам. Может быть, за это время подъехал следующий автобус. Так или иначе, военный билет оказался на фамилию некоего Шумского, сотрудника второго отделения милиции (это за английским посольством) — вообще гебешное отделение, и плюс к этому было написано, что он закончил Высшую школу КГБ. Ну, на следующий день Тома пошла к следователю. То есть в милицию. Следователь оказался очень приличным, и, поскольку фамилия была известна, он тут же выяснил его адрес и в тот же день устроил у него обыск — и изъял костюм со следами крови (ну, поскольку вот у Тома были поцарапаны руки, очевидно, от этого), и его допросил. То есть серьезно начал уголовное дело. Но, правда, месяца через три этого следователя уволили, а потом из милиции пропал костюм Шумского. Причем Софья Васильевна Каллистратова говорила, что она совершенно поражена. Что обычно бывает такое, что, скажем, КГБ запрашивает какие-то вещдоки или документы и не возвращает. Но так, чтобы они пропадали просто — по тем временам...

С. П.: То есть очевидно, что это было...

С. Г.: Это все-таки была большая редкость. Правда, потом этого Шумского все-таки посадили. Там через год, что ли, его судили — по какому-то другому делу.

С. П.: А эта история, простите, она относится к какому периоду примерно?

С. Г.: Это вот...

С. П.: Между двумя...

С. Г.: 81-й год или 82-й.

С. П.: То есть вы в этот момент были в Боровске.

С. Г.: Я был в Боровске, а Тома была в Москве. Вот, ну, правда, я еще год... Мне же не давали купить дом.

С. П.: Ну да, это вы говорили в прошлый раз.

С. Г.: Да. Присылали каких-то других покупателей, еще что-то такое. Запугивали мою мать. И об этом я тоже рассказывал. То есть, в общем, как бы работа с нашей семьей не прекращалась. Потом попробовали запугать меня. Я, по-моему, концовку этого рассказывал, но началось с того, что вдруг меня вызвал мой милиционер, который должен был осуществлять за мной надзор, какой-то капитан, и начал мне объяснять, что вот на Киевском вокзале в какой-то квартире в ванной нашли убитую женщину и это было как раз в тот день, когда вы ездили в Москву. Я ему говорю: «Ну и что?» «Ну как что? Я еще не знаю — могут найтись свидетели».

С. П.: Настолько откровенно.

С. Г.: Да, абсолютно. А потом начал... Как раз вот после этого и начал меня убеждать: «Ну почему вы не уезжаете?» Уже по-видимому, значит, те, кто ему это поручил, знали, что они уже давно бросили нам в почтовый ящик приглашение из Израиля. «И почему же вы вот?»

О решении не эмигрировать

С. П.: Вы уже говорили про это, мне кажется, в первой беседе. Но тогда речь шла о давлении перед тюрьмой. После тюрьмы вы все равно... Вот почему ваше решение остаться, почему оно осталось непоколебимым? Казалось бы, вроде бы очевидно. Вас выдавливают. Вам откровенно портят жизнь. Нападают на вашу семью и так далее. Работать не дают и прочее. Многие уже к тому моменту — 81-й год — уже многие уехали. Уже было очевидно, что открылась вот эта калиточка. Почему вы все равно решили остаться?

С. Г.: Ну, как вам сказать... Во-первых, я с такой чисто информационной точки зрения, что ли, — я все-таки занимался эмигрантской литературой, я все-таки знал, как нелегка эмиграция. У меня же хотела уехать даже теща. Вот она, названная Зоей Абрамовной, готова была уезжать. Но я довольно жестко сказал, что я никуда не поеду, и объяснил, сумел объяснить это жене. Ну, может быть, это было связано с тем, что сейчас я написал в предисловии. Уже с Верхнеуральским опытом. Я вообще не привык поддаваться. Может быть, это было связано с тем, что я понимал, какое значение для человека имеет своя земля и свой язык. И могилы родных, и все остальное. Ну, как вам сказать... Жизнь в Советском Союзе, конечно, была ужасна. По крайней мере, у меня складывалась, скажем, не лучшим образом. Но в эмиграции не было ничего, что бы меня привлекало.

” Понимаете, бóльшая часть людей уезжала ради лучшей жизни. Некоторые — не понимая, что такое эмиграция. Ну, и совсем немногие — для того чтобы спасти свою жизнь. А я не думал, что мне интересна эта лучшая жизнь за рубежом.

Я знал, что эмиграция — это чаще всего не подарок. И я... Ну, как я вам уже говорил, не очень высоко ценил собственную жизнь. Я вообще не сильно пуглив. Хотя, конечно, понимал, что всякое может быть. Тем более что мне прямо говорили: «Не поедете на Запад — поедете на Восток».

С. П.: А такой вот несколько банальный и очень личный вопрос. Сейчас вот, с высоты, так сказать, прожитых лет, вы это решение оцениваете как верное?

С. Г.: Дело не в прожитых годах. Дело в том, что был убит Тимоша. Если бы мы уехали, он был бы жив. И это единственное важное для меня соображение. Но опять-таки, так же, как я вам говорил, когда в Матросской тишине мне говорили, что вам нужно думать о детях, а я как бы о них не думал, тем не менее и тогда, и вот потом, в то время, о котором вы спрашиваете, все-таки детей еще не убивали. И это мне в голову не приходило.

С. П.: Ну понятно.

С. Г.: А все другие соображения — ну что, господи, я... Если бы не гибель Тимоши, ну что — я живу в своей стране, я делаю то, что я считаю правильным, но если это такая страна, то, в конце концов, виноваты в этом мои родные, мои соседи, мои это самое, да и я сам.

” Что ж, почему же надо жить в стране, которую, скажем, англичане и французы построили для себя и своих детей, а не для нас? Вот что мы построили, то мы и получили. Кто ж, кроме нас, в этом виноват.

С. П.: Понятно.

В калужском следственном изоляторе

С. Г.: Ну вот, ну давайте посмотрим, нет ли у меня еще чего-нибудь. Ну что ж, у меня еще нет... Давайте я вам расскажу еще несколько историй о Калуге, когда там я был в следственном изоляторе.

С. П.: Это... Сейчас... Напомните...

С. Г.: Это уже второй арест.

С. П.: Давайте.

С. Г.: Ну, во-первых, я был не единственный, скажем так, интересный персонаж в это время в тюрьме. То есть я тоже вызывал большой интерес, потому что к этому времени уже вышли газеты с рассказами о том, как я прятал чемоданы с долларами и радиостанциями...

С. П.: А это писали где?

С. Г.: Это писали и в калужской областной газете, и в боровской областной газете... То есть районной газете. И, может быть, еще где-то, но об этих газетах я точно знал. Ну и, поскольку эти газеты доставлялись в тюрьму — ну, калужская уж точно — то, значит... Но был второй человек, о котором не писали. Это был сын гроссмейстера Корчного. Корчной остался на Западе. Сыну его было восемнадцать лет, и его всячески заставляли идти в армию, а он понимал, что, если он попадет в армию — ну, даже независимо от качеств советской армии, можно будет сказать, что он носитель секретов, и значит, он не уедет к отцу никогда. Его арестовали за отказ служить в армии. Ну, конечно, это всем было интересно, конечно...

Мое положение менялось. Где-то я это рассказал, и Миша Айзенберг это нашел. Я, в общем, точно понимал, пройдя Верхнеуральск, уже точно зная, что такое пресс-хаты, уже точно зная, что с людьми бывает в тюрьмах, что может быть всякое и что со мной воюют так, что может оказаться, что сил у меня не хватит. Но я точно знал, что не только оставаться, но даже жить в каком-то подавленном, затерзанном или опущенном даже состоянии я не буду. И нашел... Где-то мне с самого начала, в первые же дни попался такой изогнутый ржавый гвоздь большой. Я рассчитал... Ну, довольно многие кончали с собой, разрывая простыни, вешаясь и всякое такое. Я не понимал... Мне казалось, что это получиться не может, потому что даже веревку надо смазывать, чтобы она затягивалась. И вообще, как это делать, не знаю. Я думал, что разбить голову о железную дверь или там о эти покрытые бетоном стены у меня тоже не хватит энтузиазма и сил. Но вот вогнать себе гвоздь в висок — это я смогу, и этого будет достаточно. Этот гвоздь у меня был в Казани все время. Причем забавно, что (я не помню, по какому поводу — может быть, по поводу моей голодовки, может быть, еще почему-то) меня вызвал начальник тюрьмы, и фамилия его была тоже Кузнецов, как и начальника пересыльной тюрьмы в Казани, вспомнил кого-то, кого осудили в Калуге, и потом совершенно поразил меня своим замечанием о том, что да, только то прочно стоит, под чем есть живая кровь. Слышать такое от полковника, начальника тюрьмы, было довольно странно, но у меня была пара соседей до того, как я объявил голодовку, довольно забавных... Один из них был директор магазина «Океан». В это время шли суды над сотрудниками министерства рыбной промышленности. Там была какая-то история с сотнями банок селедки, где на самом деле оказалась черная икра. Министра не судили, но, по-моему, замминистра тогда посадили все-таки. Это была гигантская афера. Ему явно поручили со мной поразговаривать, но пользы не было. Потом посадили какого-то мальчика, шофера, с которым я играл в шахматы, что уже было повеселее все-таки, и который рассказывал из своей жизни, с одной стороны, то, что, когда по ночам он подвозит женщин на такси, он иногда (ну, он был шофер такси) берет с них не деньгами, а натурой, а потом был замечательный рассказ о том, как в последние годы ему замечательно жилось, потому что его соблазнила его теща и теперь во всем в их доме все было выстроено вокруг него и так, чтобы ему было хорошо. Ну, в общем, это были все-таки нормальные тюремные истории. А я потом начал требовать, чтобы мне была передана Библия, и, поскольку некоторое время они упирались, я объявил голодовку. Я рассказывал, что меня едва не убил врач.

С. П.: А вот у меня был как раз вопрос с прошлого раза. А почему вам нужна была Библия? Вы такой религиозный человек? Или какое-то дело принципа у вас было?

С. Г.: Я не могу сказать, что я... Я не церковный человек, скажем так. Но я человек, прошедший... Ну, много думавший об этом. А еще из... Ну и, в общем, воспитанный на христианской культуре, если говорить серьезно. Но тюремный опыт — это, в общем, совсем особый опыт. И опыт голодовок, и опыт совершенно другого ощущения и жизни, и тела. И во время голодовок я довольно часто вспоминал опыт схимников, но у меня на самом деле было совершенно другое: у меня было какое-то постоянное и странное — никогда не прошедшее, надо сказать, — ощущение пути. У меня с тюремных времен не прошло ощущение взаимной зависимости всего, что со мной происходит, во-первых, а потом у меня вообще, понимаете... Ну, вот есть довольно распространенное представление — на нем основано чудовищное количество

художественных произведений там, книг, фильмов, чего угодно — о том, как человек, перенесший какое-то серьезное несчастье или увидевший чужое несчастье, начинает в этом обвинять Бога.

С. П.: Ну да, естественно.

С. Г.: Что вот как, как вот он мог это допустить, как... А у меня — вот изначально и всегда так — совершенно другое представление. Почему и какой человек может вообще понимать, что в конечном результате является добром и злом? Что является правильным или неправильным? Почему вообще он считает, что та логика и то представление о том, как все должно быть вокруг, у Бога должно быть такое же, как у него? При том что он вполне допускает, что это совершенно другая природа и совершенно другое?.. Почему человек приписывает?.. То есть, на самом деле обожествляет себя. Он приписывает свою логику и свое представление о справедливости или несправедливости миру, который он толком понять не может на самом деле. И поэтому, может быть, на этом основано мое спокойное отношение ко всему, что происходит. Оно вот такое внутреннее.



И, конечно, мне всегда интересна Библия. Сейчас я ее не читаю почти. Но в тюрьме это очень подходящее чтение.

С. П.: Наверно, да.

С. Г.: Вот, поэтому...

С. П.: Но насколько ваше требование было, ну, не то что бы фантастично, но я так понимаю, что это запрещенная тем не менее литература?

С. Г.: Нет. Нет, никакого запрета нет. Другое дело, что это не дается, конечно, никогда. Но тем не менее, исключения бывали, и я знал это. А может, не было. Мне было все равно, в общем, если говорить серьезно. Я знал, что никакого запрета нет, и требовал, чтобы... У меня была дома такая очень удобная небольшая Библия лондонская в таком более позднем не синодальном, а вот Библейского общества переводе. Ну, я ее и получил. Я ее получил, и она у меня была там полгода. Потом со всеми рукописями Шаламова и всем остальным (и моим собственным обвинительным заключением), естественно, ее забрали.

Чистопольская тюрьма

Ну что, кажется, мы...

С. П.: Да, подошли к началу следующей главы.

С. Г.: Ну, не знаю. На все вопросы я вам ответил?

С. П.: Ну, на сегодняшние — да. Сейчас мне кажется, что да. Возможно, появится что-то еще в процессе, но пока... Ну что, значит, мы сейчас переходим к этапу, когда из Калужского следственного изолятора вас отправили...

С. Г.: В Чистополь.

С. П.: В Чистополь, да.

С. Г.: Опять отправили в Чистополь. Ну что, в общем, я... Вот тут-то я знал, как это будет, но надо сказать, что чистопольское мое пребывание в какой-то степени было связано, началось, точнее, с довольно неприятного недоразумения. Ну, я, по-моему, вам рассказывал (и, конечно, так оно и было), что характеристика у меня была в деле хуже некуда. И, по-видимому, с рекомендацией делать мне всякие пакости. Для начала начальник тюрьмы никак не мог понять, почему меня возят спецэтапом, когда всех

остальных возят нормальными «столыпинскими», но потом со мной попытался поговорить представитель КГБ — вот при... Ну, собственно говоря, даже не при Чистопольской тюрьме, а при том одном коридоре на втором этаже, где были камеры политзаключенных, было два представителя КГБ. Один, по-моему, капитан — с замечательной говорящей фамилией Кандалин, которая мне тоже несколько раз встречалась. В общем, это вот у тюремных людей... Второй был, по-моему, старший лейтенант Толстопятов. В это время это была знаменитая тоже фамилия, потому что банда Толстопятова устраивала в Ростове какие-то налеты, какие-то... Сконструировала свой автомат, еще что-то такое. И об этом, как ни странно, писали. Ну, в общем, так или иначе, этот самый Кандалин попытался со мной поговорить, вел себя слегка хамовато, на что я ему сказал: «Ну, если вы себя так ведете, по-видимому, мы с вами в последний раз разговариваем». И так оно и было. Больше я с ним не разговаривал никогда. Но плюс к этому (ну, конечно, это была чистейшая пакость администрации) они тут же меня отправили ну как бы стричься — и сбривать мне усы. Которые вообще я ношу всю свою жизнь. Никто в предыдущие пять лет в тюрьме со мной этого не делал, и, больше того, в исправительно-трудовом кодексе, что я хорошо знал, есть пункт о том, что выходцы с Кавказа имеют право носить усы.

С. П.: Специальный пункт такой?

С. Г.: Да. Ну, потому что вот, потому что попытка сбрить у них усы приводит ко всяким...

С. П.: Интересно, когда он появился?

С. Г.: Не знаю. Я думаю, что он был всегда. Я не думаю, что когда-нибудь их брили. Ну, то есть я был в своем праве, в общем. В конце концов, фамилия у меня Григорьянц, и с какой стати... Они в свою очередь тут же начали мне объяснять, что на самом деле ни на каком Кавказе вы не живете, живете в Москве и к вам это все не относится. Ну, не относится — не относится. Тем не менее, я...

” Ну, понимаете, я, в общем, к своим усам относился довольно спокойно — бог бы с ними, но в тюрьме нельзя позволять, чтобы у тебя отбирали то микроскопическое, на что ты имеешь право. И без того у человека вот остался какой-то абсолютный минимум его личной жизни, и если ты его отдаешь, то вот это вот есть абсолютное подавление.

Ты уже внутренне не способен, ну, я не знаю, чувствовать себя человеком. И без того у тебя уже нет одежды, и без того у тебя уже нет там свободы, и без того у тебя уже нет еды, которая тебе нужна, — вообще ничего почти нет. То, что там у тебя осталось, — там пять книжек, еще что-то, еще что-то, вот это вот надо защищать. Я слегка отбивался в силу своих хилых способностей. Они меня слегка помяли — охранники — и бросили в карцер. Ну, бросили в карцер — бросили в карцер, бог бы с ним, тем более что в Чистополе именно карцер для политических заключенных был теплый и с деревянным полом, но тут у меня начала болеть нога, и я решил, что это результат как раз того, что вот они так со мной боролись. Причем, ну действительно болит. Я начал писать заявление об этом, что мне нанесены, во-первых, по совершенно незаконному поводу, во-вторых, ну, в общем, телесные повреждения — я чувствую боль... И я, в общем, только через, может быть, даже много лет понял... Нет, ну года через два, что на самом деле я ошибался. Что это у меня были отморожены мышцы вот тогда вот в этой камере... И болели, конечно, особенно в карцере. Но тогда я этого не сообразил. Естественно, никакого ответа на свое заявление я не получал, и, таким образом, мое появление в Чистопольской тюрьме началось с некоторого причем коллективного, в общем, бунта, который я совершенно не готовил, но Коля Ивлюшкин по своим рыцарственным качествам, потому что он привык и в Пермской зоне поддерживать все действия, присоединился к моей голодовке, и на какое-то время присоединились к ней еще двое армян — Навасардян и Аршакян из вот этой партии свободы Армении <нрзб>. Так что, в общем, все началось с... Колю Ивлюшкина посадили ко мне. Образовалась... Вероятно, когда у меня кончился карцер. Образовалась камера голодающих. У Аршакяна и Навасардяна, по-моему, кончился тюремный срок, и их

просто отправили. Выяснилось, что — совершенно поразительно — с Колей мы были знакомы еще в Москве до моего первого ареста в 75-м году. Коля вспомнил, что у меня был показанный ему такой дамский браунинг, стрелявший, по-моему, газовыми патронами. Ну, который не считался оружием и не был им, но выглядел очень эффектно. Ну, и так мы сидели с Колей. Естественно, они начали через какое-то время искусственное питание делать, но никаких поползновений прекращать все это дело ни я, ни Коля не предпринимали. Они поняли, что это уже слишком. Тем более что действительно совершенно противозаконное требование, действительно — все права я имею. К нам пришел начальник отряда, вот именно политзаключенных, Чурбанов и сказал: «Ну ладно, ну бог с ним. Прекращайте голодовку, и нет у нас к вам претензий». Ну, и поскольку я до этого не один раз голодал и уже привык, мы договорились о том, что будет белый хлеб — ну, из ларька, что ли... Не помню, как, ну, в общем, так, чтобы все-таки выход из довольно долгой голодовки — мы, наверное, проголодали месяца полтора — был более безболезненным, и еще что-то такое. Я по глупости Чурбанову поверил, поскольку, в общем, это была нормальная ситуация. Ну, действительно вот идут на какие-то компромиссы, ну что делать... А он на самом деле тут же уехал как бы в командировку. Нас с Колей на следующий день повели в баню, и на меня набросилось там два или три прапорщика, выламывая руки, для того чтобы сбрить усы. И один из них... В общем, это тоже было, конечно, недоразумение, но это было именно тюремное недоразумение. Конечно, совершенно не понимая этого... Сами понимаете, что, во-первых, они были здоровенные мужики, во-вторых, я вообще человек довольно хилый, а тут еще и...

С. П.: После голодовки.

С. Г.: Да. Вот, один из них ударил меня по руке. Просто потому что... Не так сильно. Не понимая, насколько хрупкими становятся кости во время голодовки. И сломал мне руку. Сломал мне руку, открытый перелом, торчит кость. Ну и с этого времени все началось совсем иначе. Дня через два меня повезли на открытой машине, хорошо одетым, конечно, но по ухабам километров пятьдесят в Казанскую больницу. Естественно, это была чудовищная боль совершенно.

С. П.: А на открытой машине — что это значит? В смысле?

С. Г.: Ну, в «газике».

С. П.: То есть не в автозаке?

С. Г.: Даже не в автозаке. Ну просто вот в «газике» с двумя какими-то ментами. А дрожит же вот все... Я еще по глупости опять-таки предвкушал, как я попаду в Казанскую больницу, как я опять попаду в эти большие палаты и какие разные и забавные люди там будут, и как можно будет, может быть, что-то передать. А поместили меня одного в какой-то грязный подвал...

С. П.: Но в больнице, да?

С. Г.: Да, в больнице. Но только одного <нрзб>. Вот. Никаких посторонних людей я больше не увидел.

С. П.: Это чтобы вы не рассказывали о том, что произошло?

С. Г.: Ну конечно. Господи, ну в политической тюрьме политзаключенным ломают руки!

С. П.: Ну да, то есть это сразу попало бы куда-то в новости...

С. Г.: Да нет, ну это вообще была чудовищная история. Ну, я, естественно, требовал с самого начала суда над персонажами, которые вот... Тут же мне принесли большую тарелку каши, залитую вот так вот с верхом постным маслом. По-видимому, это было самое, что у них было, ну, калорийное. В общем, дней пять меня откармливали хоть как-то, чтобы можно было делать операцию. Потом, надо сказать, очень профессиональный хирург сделал мне операцию, закрутив разломанную кость металлической проволокой. Потом опять меня еще какое-то время держали в этом подвале, чтобы я хоть мало-мальски отошел от операции. Потом некоторое время опять-таки в одиночке держали в Казанской пересылке. Прошло месяца полтора. Ну, по моим безграмотным представлениям, когда кость срастается, то вот вставленные всякие штыри — ну, делают новую операцию...

С. П.: Да, вытаскивают.

С. Г.: Да, ну эти штыри... У меня ничего вытаскивать не стали. Никакой новой операции мне никто делать не стал, и месяца через два меня привезли в Чистополь. Ну, с рукой так — на перевязи. И в Чистополе оказалось, что, во-первых, из-за меня не дают никому свиданий, чтобы никто ничего не рассказал, а во-вторых, что на всякий случай почти перестали отправлять даже цензурируемые письма, и, в-третьих, что было хуже всего, что у Коли Ивлюшкина и Володи Пореша, у которых кончался срок, сфабриковали новый срок по введенной тогда, в общем, чудовищной статье — при Андропове ее вели, — при которой вообще все сроки могли быть бесконечные. Это была, не помню, по-моему, сто восемьдесят первая, третья, что ли... Сто девяносто... Ну, не помню сейчас номера... Но суть ее была в том, что за правонарушения внутри колонии или тюрьмы, если раньше в колонии, скажем, давали — ну, переводили на другой режим, в тюрьму, то теперь давали новые сроки. А поскольку насчитать правонарушений в колонии можно сколько угодно и как угодно, то практически можно было давать все новые и новые сроки, просто не выпуская человека.

С. П.: Ну, это какая-то прямо сталинская...

С. Г.: Да.

С. П.: Традиция.

С. Г.: Да, и об этом, кстати говоря, почти никто не пишет, и вообще никто этого не понял.

С. П.: И это происходило реально, да? То есть были такие...

С. Г.: Ну вот именно так и дали сроки Володе Порешу и Ивлюшкину, чтобы не выпускать их на волю, поскольку было... Я забыл рассказать, но я первые недели две в Чистопольской тюрьме как раз и провел с Володей Порешем, Балахоновым и Казачковым. Причем потом выяснилось, что меня посадили туда вполне сознательно, потому что у Балахонова кончался срок, а Володю они все подозревали в том, что на самом деле какие-нибудь задания от западных разведок он получил — иначе зачем же он вернулся в Советский Союз, уже получив швейцарское гражданство. И поэтому меня посадили в камеру вместе с ними. Володя был в довольно тяжелом состоянии, отравленный, по-видимому, еще в Институте Сербского, где его держали в отдельной камере тоже. Ему все время казалось, что из угла камеры идут какие-то газы, и убедить его нельзя было, хотя, ну, в общем, если он чувствует, то почему мы не чувствуем. Но главное, меня посадили к нему, без труда сообразив, что я тут же ему предложу, чтобы он жил на свободе в моем боровском доме. Было очевидно, что у него будет надзор. Но из-за этого, надо сказать, мне испортили дом. Ну, я, конечно, Володе предложил. Но еще перед этим какой-то хмырь пришел к моей жене... Тут надо сказать, что я не договорил ведь — вот я так рассказывал о своем как бы удачном разговоре со своим куратором в Калужской тюрьме, когда меня отправляли на этап...

С. П.: Когда вы его там поставили на место.

С. Г.: Да. Я-то его поставил на место, но именно поэтому был убит мой сенбернар Тор. Потому что им надо было — им тут же захотелось, естественно, хотя я уже, конечно, точно знал, что там ничего нет, но им хотелось устроить еще один обыск. Бульдога перевезли в Москву, а сенбернара нельзя было перевезти, потому что он был очень большой и его просто никто не смог бы удержать. Две женщины, двое детей. То есть с ним нельзя было гулять. И он остался в Боровске, куда приезжали его кормить. Неподалеку жил потом работавший много лет в «Гласности» замечательный человек такой Виктор Васильевич Лукьянов, и он с ним гулял... Ну и вот как раз тогда, в это голодное время, когда, в общем, и для людей мяса не было, вдруг оказался кусок отравленного мяса у них на дороге. В общем, так или иначе, после этого дом пустовал с полгода — и тут появился какой-то человек, который сказал, что вот хотел бы его снять. Ну, хотел бы снять — хотел бы снять. Жена согласилась. Я даже в этом доме, я сделал его таким красивым, как мне казалось: то есть это были сплошные вот такие вот бревна необлицованные... В общем, это было, ну, не знаю, по-моему, очень симпатично. Отмыл его. Как потом выяснилось, этот хмырь тут же оклеил эти бревна какими-то омерзительными зелеными обоями. Но оклеил-то он не случайно.

Это я уже нашел, когда вернулся в Москву по окончании срока, то есть когда нас освободили. Около кровати под этими обоями я обнаружил — они просверлили вот такое бревно, и была к этому времени уже пустая коробочка. Явно от микрофона. Плюс к этому они мне испортили печку, потому что от какого-то ближайшего столба они второй микрофон опустили в печку, выбив один из кирпичей в трубе. В результате она уже не... Ну, в общем, это было бог знает что, и, главное, зря совершенно, потому что Володя в конце концов решил жить в Тарусе, а не в Боровске.

С. П.: Да уж, обидно.

С. Г.: Обидно, да. Ну, то есть еще к тому же я обоих знал — и Володю Пореша, и Колю Ивлюшкина, и, в общем, это была совершенно отвратительная ситуация. Им дали большие сроки за нарушение режима содержания в тюрьме и, в общем, я опять объявил голодовку — уже в знак протеста против этого. Потому что, в общем, это было, ну, явно по моей вине.

С. П.: Скажите, а вот вы до Чистопольской тюрьмы... Там были исключительно политические, да? Или как это было устроено?

С. Г.: Ну, это были люди из политических зон. Но в политических зонах бывали разные люди. Там бывали люди... Ну, во-первых, бывали просто уголовники, потому что в уголовном мире была распространена идея, что вот в уголовных лагерях очень плохо, а вот в политических зато замечательно. И они ухитрялись по-разному: кто-то начинал в зоне разбрасывать листовки, кто-то выкалывал у себя на лбу «раб КПСС» или еще что-то такое — в общем, таким образом он мог попасть действительно к нам в зону, и это всегда оказывалось для такого человека очень плохо. Потому что кормили, может быть, в политических зонах и лучше, но такого чудовищного надзора за очень небольшим количеством людей все равно не видели... И постоянного использования всех человеческих слабостей в уголовных зонах на самом деле не было. То есть если в уголовных зонах основной проблемой (ну, может быть, кроме ситуации со мной) было общение с соседями, которые и впрямь могли быть источником опасности, то в политических зонах основным источником всякого рода неприятностей была как раз охрана. В общем, очень жесткий сравнительно режим наблюдения. Уголовники, как правило, становились стукачами. Одного из них — я забыл, как его была фамилия, на «А» как-то; с ним я какое-то время даже сидел, и это было очень забавно, надо сказать, потому что до этого он сидел со Щаранским. Ну и сидел со Щаранским, и, в общем, в тюрьме все знали, что люди, которые называют себя друзьями Щаранского, — это, как правило, стукачи. Потому что Толя по своей доброте и доверчивости тут же начинал помогать своим соседям. Ну, довольно часто у этих людей не было ни посылок, ничего, и его мама начинала присылать посылки его соседям — ну, в общем, образовывался новый друг Щаранского. Потом он попадал к кому-нибудь из нас. Ситуация была вполне очевидная. Ну, поскольку Толю никогда не сажали ни с кем из мало-мальски или... Ну, во-первых, никогда не сажали с евреями, естественно, ну и, в общем, вообще не сажали с мало-мальски серьезными политзаключенными.

Потом бывали разные другие люди. Бывали солдаты. Ну, вот таким был Коля Ивлюшкин — как, в общем, исключение. А большая часть солдат — ну что, ну сфабриковали им дело... Ну, в общем, ничего особенного за душой у них нет, никаких там политических идей у них нет. А тут кум предлагает помочь... Бывали сознательно посаженные (ну, я уж не знаю, в нашей ли зоне, но, по крайней мере, в Чистополь) люди, с помощью которых, в общем, можно было создавать напряжение в тюрьме. И один такой — я тоже не помню его фамилии — был прямо (хотя я никогда с ним не сидел), прямо явно направлен против меня. Все время что-то кричал, все время в чем-то меня обвинял... Ну, в общем, было видно, что вот такое у него задание, но это было уже в самом конце, и, в общем, и мне, и всем остальным было наплевать. Да и, господи, какая разница.

Ну, среди... Это я забегаю несколько вперед, но, скажем, среди солдат был такой литовец (где-то у меня написано, сейчас не могу вспомнить фамилию) — ну, действительно сумасшедший, действительно шизофреник. Здоровенный красивый парень, которого, видимо, для счету комиссия определила в армию. В армии он, естественно, говорил своим соседям все, что ему приходило в голову, в том числе и о «Лесных братьях» и еще что-то такое. Ну, все, что знал, господи, ну... Попал к нам в зону. Но в зоне тоже справиться

с ним было трудно. Работать он совершенно не желал... Из зоны его отправили в тюрьму. Ну, месяца два я с ним просидел, и это было непростое испытание. Потому что, скажем, утром он мог сказать, что вот ты знаешь, мной ведь через зуб со спутника управляет полковник КГБ, и вот всю ночь он меня уговаривал тебя убить.

С. П. (усмехается): Да, неплохо.

С. Г.: А я удержался. Причем самое ужасное в этой ситуации было то, что все мы точно знали, что психушки МВД специализированные — они еще страшнее зоны. Потому что там с человеком можно делать все что угодно совершенно. Естественно, никакие жалобы его не рассматриваются, поскольку он сумасшедший. Ну, и так далее. И поэтому написать, что он сумасшедший, для того чтобы его перевели в больницу — ему действительно надо было лечиться — тоже было невозможно. И вот приходилось так ждать — удержится он или не удержится. Здоровенный такой девятнадцатилетний почти двухметровый парень, кровь с молоком.

Ну, в общем, я объявил голодовку в знак протеста против суда над Колей и Володей, продолжал голодать. Рука у меня на перевязи. А я человек дикий ведь и не понимающий, что к чему, искренне полагающий, что надо вынимать спицу. Ну, или проволоку. Ну, в общем, так или иначе, вот если рука срослась, так это самое... Она у меня побаливает, естественно. И мне этот мерзавец врач — там было два врача, младший из них Ахмадеев — все время говорил: «Да, да. Ничего. Ну, если болит, вот носите ее вот так вот». Но к этому времени уже кончались два года. Потому что то время, которое я провел в Калужском СИЗО, засчитывалось тоже как тюремный срок.

С. П.: То есть это у нас получается какой — восемьдесят какой?

С. Г.: Это у нас получается 85-й год.

С. П.: А, 85-й уже?

С. Г.: Да, конечно. И меня должны отправлять в Пермскую зону. У меня по-прежнему рука на перевязи и она у меня по-прежнему болит. Я абсолютно уверен в том, что операция, по-видимому, сделана неудачно и поэтому у меня не вынимают никаких металлических штучек из руки — ну, не делают второй операции. Я-то, в общем, все время жду второй операции. Подходит март, и тогда я начинаю писать в прокуратуру уже Пермской области о том, что я был искалечен сотрудниками Чистопольской тюрьмы, по-видимому, мне как-то недостаточно правильно была сделана операция, поскольку до сих пор у меня вот уже год с лишним рука на перевязи. Причем этот Ахмадеев, конечно, делал чудовищную гнусность. То есть на самом деле ему надо было мне сказать, что мне надо разрабатывать руку. А так я год не разрабатывал руку после операции. То есть я бы действительно стал абсолютным инвалидом, и это бы так все заостенело. Год у меня рука на перевязи — и он говорит так носить. Ну, вот и что? Теперь они меня собираются отправлять в Пермскую зону, откуда, по-видимому, я буду освобождаться — ну и буду подавать в суд теперь уже на Пермскую зону, потому что она будет нести ответственность за мое состояние. Примерно такое заявление. Ну, в общем, они меня отправляют действительно этапом в Пермь — со всякими приключениями и забавными соседями, и пересадками — и привозят прямо в больницу. Там была одна больничка на три зоны — тридцать пятую, тридцать шестую, тридцать седьмую. Но уже на второй день или на третий из более-менее общей палаты меня переводят в такую двухместную, где я попадаю с Андреем Шилковым. Андрей Шилков — замечательно симпатичный человек вообще, с массой всяких рассказов обо всем, начиная от Псково-Печерского монастыря, где он когда-то был послушником, и как он водил там всяких экскурсантов по лесу... Ну и, в общем, масса у него всего любопытного, не говоря уже о деле социалистов¹ и как он бежал из Института имени Сербского. В общем, замечательные рассказы. Но я все-таки опытнее Андрея. И поэтому слушать я их, конечно, все слушаю. Мне замечательно приятно и интересно. Но сам ему рассказываю только всякие московские байки. Там о приключениях на машинах, о Доме кино, каких-то загородных прогулках чуть ли не с Микоянами, еще что-то — ну, в общем, масса всяких... Все правда, но только, в общем, ни к чему отношения не имеет. Из моих таких воспоминаний до первого ареста и всякой этой жизни. Ну и, в общем, конечно, я оказался вполне прав. Конечно, эта камера прослушивалась. Причем эти московские истории на этих несчастных

деревенских ментов, которые все слушали, производили такое ошеломляющее впечатление, что они потом уже не могли сдержаться и сами мне их пересказывали. (Смеется.) Ну, господа, ну... Я это делал даже более полно и забавно, чем делал в первый срок.

¹ 6 апреля 1982 года были арестована группа «московских социалистов» Андрей Фадин, Павел Кудюкин, Борис Кагарлицкий, Юлий Хавкин, Владимир Чернецкий, а несколько позже — Михаил Ривкин в Москве и Андрей Шилков в Петрозаводске. Их обвинили в «антисоветской пропаганде» и в создании антисоветской организации, но — случай почти беспрецедентный — заступничество западных коммунистических и социалистических партий и согласие «раскаяться» привело к освобождению от суда всех, кроме Шилкова и отказавшегося от раскаяния Ривкина. Подробнее о советских социалистах см.:

<http://old.memo.ru/history/DISS/books/ALEXEEWA/Chapter17.htm>

Но тем не менее, они провели всякие исследования и сказали, что да нет, у вас вполне нормально сделанная операция, вполне сросшаяся кость, ну а то, что они не хотят вынимать железку, имеет полное право — в общем, никакого значения это не имеет. И меня отправляют в зону. Отправляют в зону, и без того разделенную на две части, потому что там Федоров, сначала помещают, как и полагается, в изолятор... В общем, я даже не очень понимаю, почему, но, в общем, у него была уж очень плохая репутация. В изоляторе сначала был один или два человека, но там камер семь было или восемь... В других камерах.

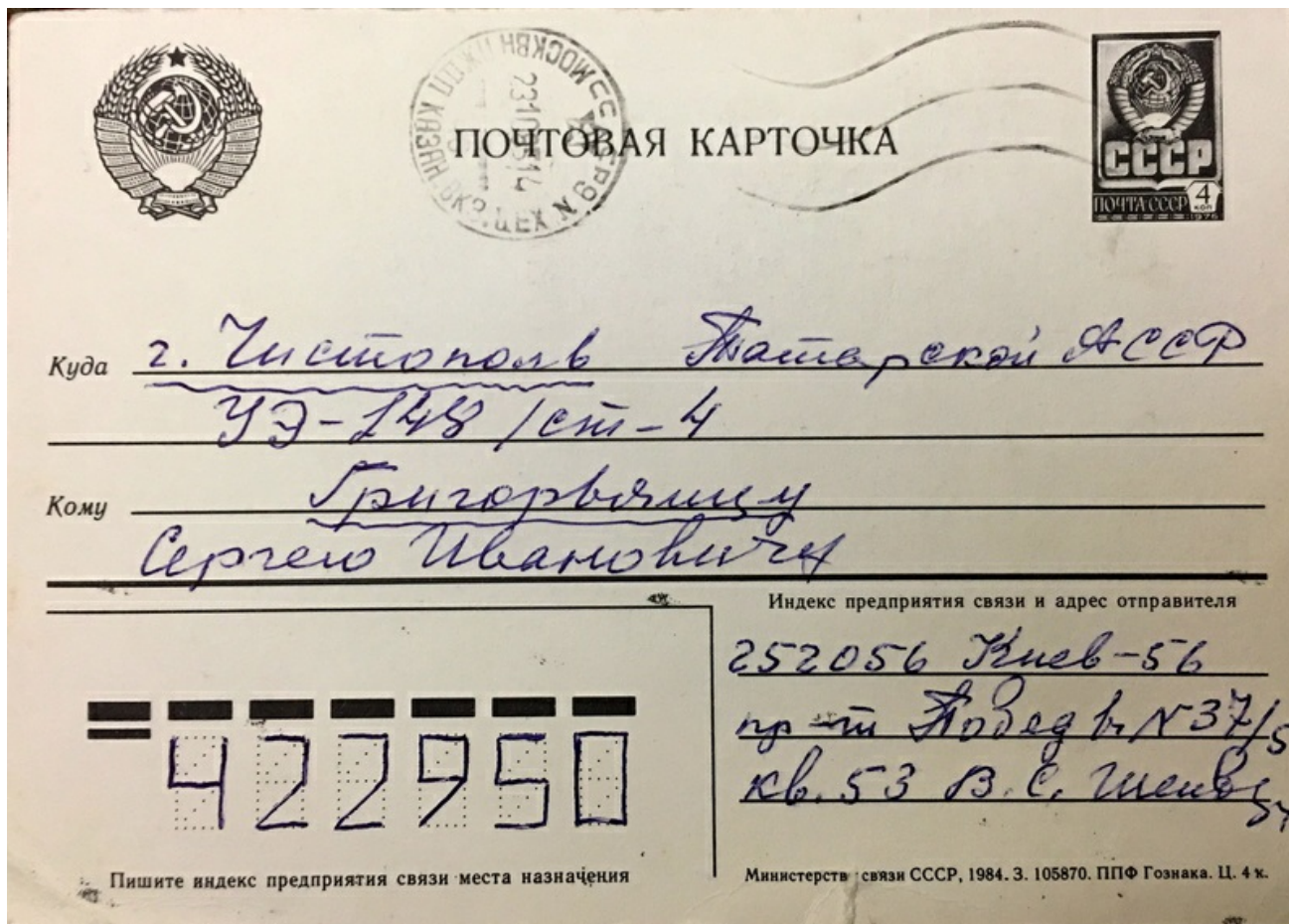
Потом туда помещают Толю Марченко. И в зоне уже известно, что вот меня привезли. А Толя, по-видимому, нелегально переписывается с Ларой [Богораз] и поэтому все обо мне знает, и в частности знает, что месяцев девять мои родные в связи с этой сломанной рукой и всем остальным не получают от меня никаких вестей и вообще не знают, жив я или нет. Ну и Толя мне — его ведут по коридору, мимо моей камеры, — кричит: «Сергей, у тебя все нормально, не беспокойся!» То есть знает, что я здесь. И после этого то ли по совокупности нас с Толей, то ли еще как-то, но последних таких малоизвестных нам людей из изолятора убирают, и дальше на полгода мы остаемся одни. Когда привозят в зону каких-то новых эков, их уже помещают не в изолятор, а в медпункт, переоборудованный под изолятор, а мы в разных камерах на расстоянии двух камер друг от друга сидим в одиночках. Причем у меня это вот попеременно (наверное, и у Толи так же), попеременно то карцер, то... То есть то ПКТ (то есть помещение камерного типа), то этот самый, как его, строгий режим. В общем, так или иначе... То есть немножко больше еды — немножко меньше еды. То через день, то каждый день. Но все равно на особом режиме это, по-моему, девятьсот килокалорий. То есть слегка меньше, чем в Освенциме. Ну, а я кроме этого же еще понимаю, что надо мной висит возможность и впрямь стать инвалидом. И на таком питании тем не менее разрабатывал руку, что совсем небольшое удовольствие, после того как год ты ею не двигал и она почти закаменела. Разрабатывал руку, пытаюсь делать какие-то упражнения. Это тоже является предлогом для того, чтобы очередной раз переводить меня на самый жесткий режим — там поднимать... Ну, в общем, вот так вот оно продолжается... И меня, и Толю, по-видимому, довели до чудовищного состояния. Ну, о Толе я могу только сказать, что я впервые услышал... У меня камера была рядом с камерой начальников отрядов, вообще где велись всякие официальные переговоры. И Толя, который вначале там весело ходил, умывался и все рассказывал охранникам, чем кончили охранники в Дахау и что их ждет то же самое, и так далее, и так далее... Потом однажды приехал то ли прокурор, то ли не помню, кто — и я вдруг услышал просто (Толю привели туда) Толин стон: «Но ведь у меня же такие тяжелые и страшные болезни. Мне же нельзя быть в одиночке». А я в очередной раз едва не сошел с ума. И в это время уже шли всякие информации вот и по радио, и по...

С. П.: О чем, простите?

С. Г.: Ну, о перестройке.

С. П.: А почему вы говорите, что вы чуть не сошли с ума?

С. Г.: Ну, сейчас расскажу. Я написал заявление в управление — не помню, то ли в прокуратуру... Нет, наверное, в управление КГБ. О том, что вот в Советском Союзе идут такие перемены, а начальник зоны не только их игнорирует, но всем, что он делает, явно оказывает им сопротивление. Но, к счастью, по этому заявлению приехал какой-то дурак — татарин, начальник районного управления КГБ, что ли. Порасспрашивал меня, порасспрашивал, но, поскольку ничего толкового сказать я не мог, кроме того, что этот начальник зоны пытался меня уговорить, что, ну, то, что мы не держим вас вместе с Марченко, — это понятно, потому что вы распределены в одну часть зоны, а Марченко из другой части зоны, а я говорил о том, что, ну чего, у нас строгий режим, и одиночное заключение по нему не предусмотрено, но главное, пытался меня уговорить, что, ну, ничего, Григорьянц, вот у нас колония разделена на две части — вот теперь будет третья. Вот вы будете всегда жить здесь. Будете ходить на работу отсюда. Начнется нормальная жизнь, но только вы будете здесь. Я на него посмотрел и сказал, что, если вы думаете, что это возможно, то вы ошибаетесь. Вообще такого никогда не будет. И он, в общем, понимал, что, если я еще к тому же и не согласен, так сделать нельзя. Но я написал это письмо... Когда этот гебист ушел, страшно испугался. И вдруг понял, что если бы он был поумнее и похлопал меня по плечу, и сказал: «Да, вот мы с вами боремся за то, чтобы шли перемены в стране, а вот, конечно, некоторые сопротивляются, но вы же теперь, я понимаю, что вы наш союзник», — и так далее, и так далее, то в том состоянии, в котором я написал это заявление, наверное бы, ну, наверное, это могло пройти. И тогда я стал собирать нитроглицерин. Я сказал, что у меня очень болит сердце, а в это время в зоне даже не было нормального врача. Была какая-то зубная врачиха, которая исполняла обязанности врача, — в общем, бог знает что, — и которая у меня спросила: «А что вы обычно принимаете?» Я сказал: «Нитроглицерин». У меня менялся режим: то забирали все вещи, то что-то возвращали, но на окне все время оставалась как бы пустая такая круглая пластиковая коробочка из-под зубного порошка. Теоретически я не имел права иметь свой даже зубной порошок, но поскольку она была пустой, ее никто не забирал. Но нитроглицерин же тоже белый. И я собирал вот эти таблетки нитроглицерина, раздавливал их — и казалось, что это какой-то мелкий остаток зубного порошка, и на это никто не обращал внимания. Собрал таблеток сорок. Быть еще помощником сотрудников КГБ я не хотел ни в нормальном, ни в ненормальном состоянии и считал, что в случае чего я их все проглочу. Но тут... Значит, уже был август, что ли... В общем, около полугода мы так с Толей просидели, и вдруг его вызвали на суд и опять определили на тюремный режим. И через пару дней... Даже через пару часов, может быть, в тот же день, но не вместе нас — так же меня вызвали и тоже определили на тюремный режим.



Открытка, отправленная С. И. Григорьянцу в Чистопольскую тюрьму материю. Архив С. И. Григорьянца

С. П.: То есть тюремный режим более мягкий? Я правильно понял, да? Был же строгий?

С. Г.: Нет, ну формально он более строгий. Нет, на тюремный режим. Так это помещение камерного типа в лагере и карцер, а так это тюрьма вообще. Ну вот как и раньше. И отправили нас поодиночке с разрывом в пару дней, чтобы мы не были вместе в этапе. Ну, не знаю, как Ахмадеев встречал Толю, но меня то ли он, то ли вот этот вот гебист увидели и с отвращением сказали: «А вы, Григорьянц, как сюда попали?» То есть, понимаете, на самом деле ситуация там была такой: вот эти представители КГБ в Чистополе сами формировали состав Чистопольской тюрьмы. Ну, там сидело тридцать-сорок человек. Вот они объезжали зоны, сами подбирали людей — ну, вот так, чтобы было и тех, и тех, и стукачей достаточно, и покладистых, и непокладистых, ну, в общем, вот так, чтобы это была управляемая тюрьма. А меня, по-видимому, прислали назад из Перми, не согласовав с ними, что у них вызвало просто... Ну, и дальше были последние полтора года, более спокойные, хотя я тоже несколько раз голодал, и одну голодовку — да, собственно говоря, даже две вместе — я уже описывал. Я не помню, в чем было дело, но мы оказались в камере голодающих втроем с Толей Корягиным и Яниным. Ну, голодаем — по разным причинам. День на тридцатый или тридцать пятый нам в очередной раз делают искусственное питание, и начинаются — у всех троих начинаются — судороги. Мы просим термометр — оказывается, что температура сорок два градуса. Ну, естественно, дикие головные боли и так далее. Ну, Толя — врач. Естественно, сразу определил, что мы стали жертвами медикаментозного отравления. Потому что теоретически можно допустить, что тебе влили, скажем, недоброкачественный состав.

С. П.: Ну да.

С. Г.: Но тогда ситуация у каждого была бы разная. На одного бы подействовало так, на другого иначе. Там, ну, разное было бы... А тут совершенно одинаковые симптомы у всех троих. То есть совершенно очевидно, что это отравление.

С. П.: То есть вы думаете, что это было сделано специально?

С. Г.: Да, конечно. Конечно, это было сделано специально.

С. П.: Ну а зачем? С целью убить?

С. Г.: Нет. Запугать, я думаю. Может быть, запугать, может быть, проверить. Мы пишем всякие заявления об этом. Естественно, никакой пользы от них нет. А вот потом, месяца через два или через три, я опять попадаю в камеру для голодающих, где на этот раз моим соседом оказывается Женя Анцупов, такой харьковский диссидент. И в какой-то день мне делают искусственное питание в камере — ну, как всегда, а его почему-то вызывают к начальнику отряда и делают там. А потом он возвращается и вдруг начинает плакать и говорить, что он чувствует, как у него холод идет от пальцев рук и пальцев ног к сердцу, и начинает бить в железную дверь, говорить, что, ну, я же ничего дурного не хотел — я хотел только, чтобы в СССР было лучше (ну, это его тексты, две книги, которые он написал), если что нужно — я готов все написать... Я пытаюсь Женю успокоить, но я понимаю, что вот ему что-то влили, когда... Говорю: «Женя, со мной и с Толей Корягиным это уже было — ну пройдет... Навряд ли они тебя хотят убить». Ничего у меня не получается, никаких моих уговоров он не слушает и бьет меня чайником по голове. Продолжает барабанить в дверь, и его уводят. Кстати говоря, никаких, я не знаю, покаяний или чего-то еще, чего они могли бы хотеть, от Анцупова не появилось.

Ну, потом потихоньку к весне стало понятно, что нас будут освобождать. Обменяли Толю Щаранского (но не из тюрьмы, а уже из зоны). Вот. Из ссылки уехал Юрий Федорович Орлов — прямо за границу. Повезли в Казанскую больницу Иосифа Бегуна. И вот только на днях буквально он приезжал и был у меня, и оказалось, что я был неправ: мы считали, что с ним тоже ведут в Казани какие-то переговоры. Но он мне сказал, что нет, никаких переговоров не было, что просто он после голодовки тоже был в тяжелом состоянии. Ну, а в августе или в сентябре... А, в сентябре, я думаю, объявил голодовку Толя Марченко.

С. П.: Это восемьдесят какой? Седьмой?

С. Г.: Это 86-й год. Я не знаю, стоит ли это рассказывать, потому что описал это. «Последний год в тюрьме»².

² <http://grigoryants.ru/podvodya-itogi/perestrojka-v-tyurme-i-nachalo-osvobozhdeniya-politzaklyuchennykh/>

С. П.: Да, у вас... Я помню, да...

С. Г.: Я ничего не могу рассказать нового.

С. П.: А ваш срок — он просто подходил естественным образом?

С. Г.: Нет. У меня было семь лет, а пока прошло четыре с небольшим года, и я совершенно... Ну господи, в конце концов, я понимал, как я сижу, и я понимал, сколько у меня сил. Я совершенно не думал, что я живым выйду. Я точно знал... Ну, я просто помню, как я это обдумывал — опять-таки в карцере во время какой-то голодовки, — что, ну, еще на три года меня не хватит.

С. П.: Интересно: вы голодали, но при этом, я так понимаю, что то, что вы говорили — этот режим, когда мало кормили совсем в камере, — в принципе, это все-таки лучше, чем голодание? То есть почему вы считали, что вас не хватит? Просто потому, что вы думали, что вы будете продолжать голодать?

С. Г.: Нет, ну потому что я понимал, как я сижу. Я понимал, как я реагирую на те или иные действия администрации. Я понимал, что я делаю.

С. П.: Ну, в смысле, что вы не давали им спуску, да?

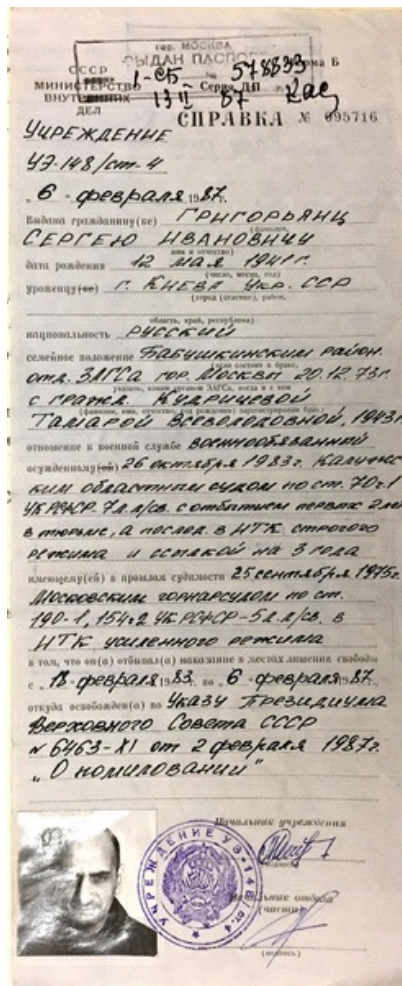
С. Г.: Да что значит — я не давал спуску?

С. П.: Нет, ну реагировали...

С. Г.: Как это я не давал спуску?

С. П.: Ну в смысле — не пропускали...

С. Г.: Ничего я... Нет, просто я не соглашался с тем, чего они хотели.



Справка об отбывании наказания С. И. Григорьянцем. Архив С. И. Григорьянца

С. П.: А как стало понятно, что вас будут освобождать? Вот вы сказали, что за какое-то время вы поняли, что будут освобождать. В чем это проявлялось? В каких-то разговорах, действиях?

С. Г.: Ну, у меня это проявилось — и это тоже забавно — вот летом у меня как раз была половина срока, а у политзаключенных полагалось, что, когда происходит половина срока, с ними ведут переговоры. Более покладистых возили — или тех, кого считали более покладистыми, — возили в те города, где они были арестованы. Где были у них кураторы, в свою очередь, им давали встречи с родными, еще что-то. В общем, как-то так. Но с теми, кого считали такими менее покладистыми, — к ним приезжал этот их куратор. И вот ко мне приехал этот куратор, начал мне объяснять, что вот ваши друзья... «Вы даже не понимаете, какие перемены идут в стране...» Что то, что написано в газетах, — это малая часть того,

что на самом деле происходит, что ваши друзья сейчас стали редакторами журналов, что, в общем, надо принимать участие... На что я на него посмотрел и сказал: «Вы понимаете, принимать участие в том, чего я не понимаю, и с теми, кого я не знаю, я, в общем, не собираюсь». На что он разочарованно сказал: «Я вижу, что на вас ничто не действует». Потом начал что-то спрашивать о положении в зоне, и тут вдруг выяснилось, что наш Кандалин каждые полгода, как ему и полагается, пишет обо мне отчеты вот этому самому куратору, причем рассказывает о разговорах моих с ним! На что я (*усмехается*) сказал: «Да нет, вы знаете, я действительно видел его пять минут, когда меня привезли, но вел он себя по-хамски, и это была единственная наша встреча». И тогда этот куратор огорченно так сказал: «Так что, вы ему не рассказывали того, что вы мне сказали?» Я вдруг понял, что все эти четыре года он ждал... Я говорю: «Нет, а зачем? Зачем мне вообще выяснять отношения с одним сотрудником КГБ с помощью другого?» Так что вот такая была беседа со мной. Ну, было совершенно очевидно, что они хотят договориться. Ну, и я рассказываю, что у нас с Толей не была одинаковой ситуация. Потому что я объявил голодовку по какому-то бытовому поводу, а у Толи голодовка была политическая. Политическая и принципиальная. И держали нас порознь. Меня держали в карцере, а его к этому времени... Ну, режим весь последний год очень ухудшался, и в частности вот объявление голодовки тоже было нарушением режима содержания и основанием для помещения в карцер. А его продолжали держать в камере. Одного в большой такой изолированной камере. Ну, и что по этому поводу думал Толя, я не знал, конечно. Тем более что нас ни разу в Чистополе вместе не поместили, потому что с ним было в точности то же самое, что со Щаранским: к нему сажали только людей, абсолютно не годящихся или на семьдесят процентов не годящихся. Я решил голодовку прекратить. Да еще демонстративно прекратить, не оговорив даже белого хлеба, вообще ничего. Да я вообще был на строгом режиме. То есть, когда меня вернули в камеру, меня по-прежнему через день кормили килькой. А Толя продолжал голодовку. В общем, остальное я рассказывал. Написал.

С. П.: Ну, понятно.

С. Г.: Думаю, что вся их переписка (я это объясняю — я не помню, где) с Ларой просматривалась. Судя по тому, что вспоминает Валера этот самый, так оно и было. Но Толя этого не понимал, и Лара тоже.

С. П.: Скажите, а вот общее впечатление о политической тюрьме по сравнению с той же Верхнеуральской — я так понимаю, что там совершенно должна была быть другая атмосфера, какие-то другие, не знаю, уклад какой-то другой... Вы что-то почувствовали в связи с этим? Как-то это у вас отложилось?

С. Г.: Нет, ну, конечно, это была совсем другая тюрьма. Действительно совершенно другое. Это нельзя сказать, что была легкая тюрьма.

С. П.: Ну, вот насчет охраны вы говорили.

С. Г.: Ну да, но это же не просто охрана. Это использование каждого слабого места, которое есть у человека. Если он тяжело болен, как Виктор Некипелов, — это объяснение, что его будут лечить, если он напишет покаяние. Если там у него — не может жить без писем от жены, то, естественно, они не доходят и свидания не даются. В каждом случае тебя стараются посадить в камеру с самым неподходящим тебе соседом. Вот только в первое время я оказался в компании с Балахоновым, Порешем... Больше уже этого не было. Ну, был Коля Ивлюшкин — просто потому, что мы вместе голодали, Корягин — потому что мы вместе голодали. И так же выбирались для всех остальных. То есть это вот постоянное, постоянное давление на все мало-мальски болезненные точки у каждого человека — в этом вот и состояла их работа.

С. П.: Ну что, наверное, на этом закончим сегодня, да?

С. Г.: Другое дело, что было больше книг и все-таки попадались люди, с которыми можно было разговаривать. И в этом смысле, конечно, было легче. В общем, все-таки это... Если в Перми с нами с Толей делали примерно то же, — ну, за счет перемены соседей и так далее — в общем, что происходило в Верхнеуральске, то есть это было такое чисто физическое измывательство, то в Чистополе это уже было несколько иначе. Я думаю, что я рассказал, как еще у меня на глазах убивали моего соседа, больного

туберкулезом. По-моему, я тоже об этом написал.

С. П.: Мне показалось, что у вас более как бы такая сплоченная, более единая реакция была, когда вы сказали, что в ответ вас поддержали голодовкой сразу, еще и не один человек...

С. Г.: Нет. Это, пожалуй... В общем, потом этого уже не было. Потом этого уже не было, причем не только со мной. Вообще не было коллективных действий. Это вот как бы так с этого началось, но нельзя сказать... То есть, конечно, можно было, я не знаю, скажем, когда у меня возникли опасения относительно Толи, я начал кричать на коридор, что вот неизвестно, что с Марченко, и даже сам на один день объявил голодовку. Ну, меня никто не поддержал. Нет, это... Ну, потом люди очень разные. Понимаете, очень разные люди, разбросанные по камерам...

С. П.: То есть разность людей на самом деле была больше, да, вот в этой, условно говоря, интеллигентной тюрьме, чем, скажем, в уголовной?

С. Г.: Не знаю. Нет, ну, конечно, все были разные. В это же время сажали все-таки не всех, по крайней мере, в политические лагеря, по крайней мере, по семидесятой статье. Там по сто девяностой и в психушки сажали массу людей. Там сняли, ну, вот психиатрический контроль с миллиона человек — представляете себе? Вот, а тут это были все-таки... Да еще к тому же отобранные сотрудниками КГБ так, чтобы они были разными. Вот отобранные в зонах...

С. П.: То есть это тщательно подобранные...

С. Г.: Да.

С. П.: А вот это вот «кричать на коридор» — это никак не пресекалось?

С. Г.: Ну, пресекалось. Теоретически за это можно было получить карцер.

С. П.: То есть физически это невозможно было...

С. Г.: Что?

С. П.: Физически заткнуть, заставить вас замолчать было невозможно, да? То есть вы успевали что-то...

С. Г.: Ну как физически, ну как?

С. П.: Ну, не знаю, захлопнуть окошечко или куда вы там кричали?

С. Г.: Да не в окошко, а в дверь просто. Дверь же железная.

С. П.: А, просто...

С. Г.: Все слышно в коридоре.

С. П.: Ага, понятно.

С. Г.: Это еще... Ну, это можно включить в какой-нибудь из более ранних рассказов — это то, что не понимали в поведении людей, бывших в тюрьме, нормальные люди. Вот почему, скажем, Андрей Шилков никогда не говорил мне каких-то вещей, а я ему? Не потому, что мы не доверяли друг другу. А потому, что это является лишним. Не надо говорить то, что человеку не обязательно [знать]. И это имеет практическое и особенное значение в тюрьме, потому что люди, сидящие в камерах, довольно редко понимают, что железная дверь работает как резонатор и что если охранник — что всегда было в очень многих тюрьмах — ходит в тапочках по мягкому коврику и подходит к двери, то, даже если ты тихо что-то говоришь соседу, он это слышит. Ну а ведь после этого могут быть любые последствия. Ты тихо это сказал соседу, ты точно знаешь, что ты никому этого больше не говорил, а потом соседу вызывают неизвестно для чего неизвестно куда. А потом тебя приглашает кум, и выясняется, что он знает все, что ты сказал соседу. Ты можешь быть уже точно уверен, что его вызывали, он рассказал вот...

С. П.: Да...

С. Г.: А на самом деле это просто совершенно ненужный, пусть и даже очень тихий твой рассказ только одному человеку.

С. П.: «Приглашение на казнь» какое-то действительно. Вот это ваше сравнение с Набоковым, вот это вот ощущение...

С. Г.: Да, конечно. Весь этот процесс — это и есть сплошное «Приглашение на казнь». И они обязательно хотят, чтобы ты в этом участвовал. Вот единственное, что я могу сказать о себе, — что я в этом не участвовал никогда. Они там могли делать все что угодно, но я им не помогал. И другом своего палача не становился.

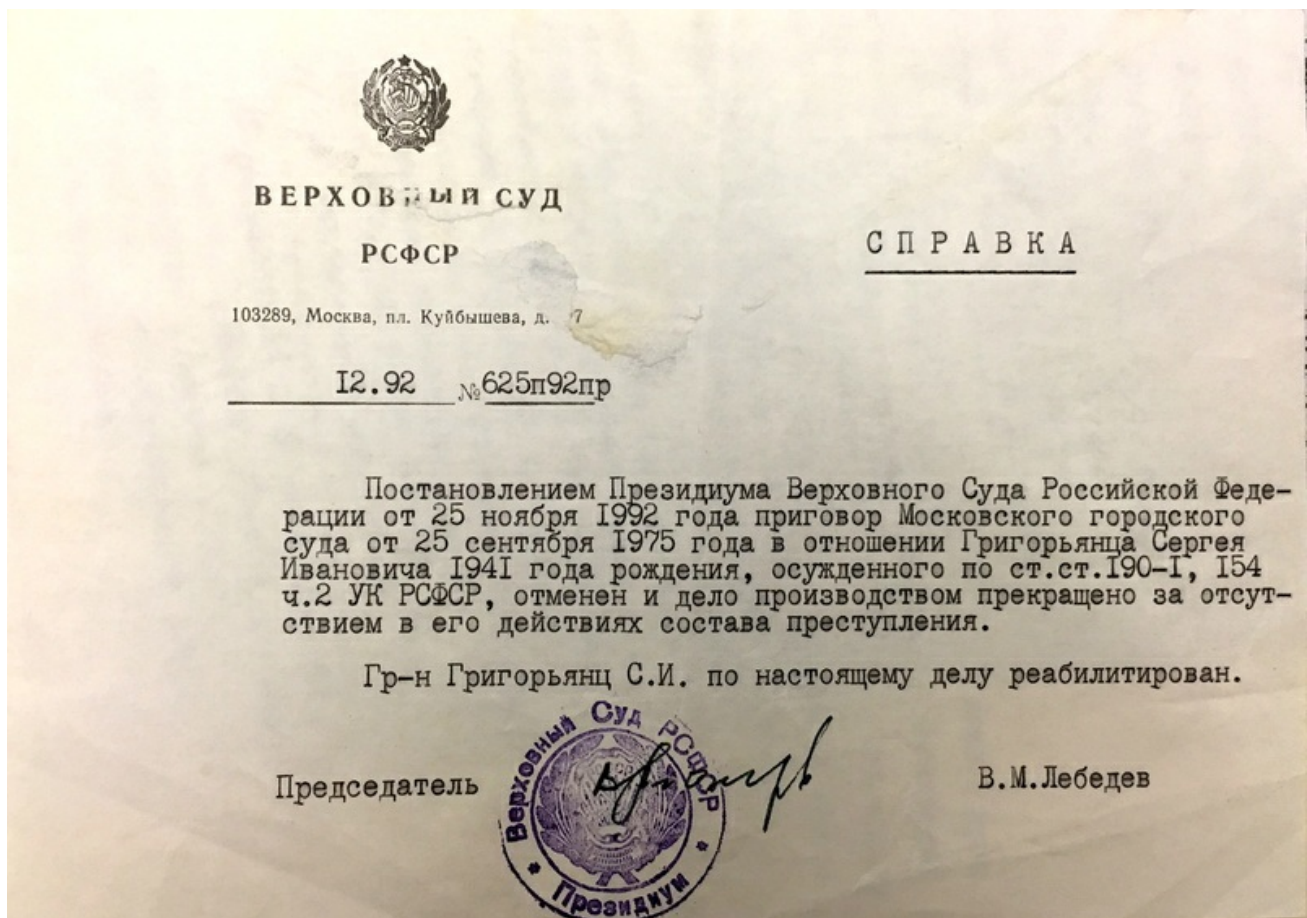
Ну, сколько мы с вами уже отговорили?

С. П.: Ну давайте... Три часа уже без десяти минут, так что, мне кажется, опять же хватит. И вам тоже надо отдохнуть.

С. Г.: Да нет, мы вообще, по-моему, с вами кончили тюремные приключения.

С. П.: Да, получилось, что да. Ну, прекрасно. И конец получился, мне кажется, логический, хороший.

С. Г.: Ну, это мы посмотрим.



Справка о реабилитации С. И. Григорьянца. Архив С. И. Григорьянца